

## А. Мариенгоф

### Мой век, мои друзья и подруги

#### 14

В Москве поэты, художники, режиссеры и критики дрались за свою веру в искусство с фанатизмом первых крестоносцев.

Трибуны для ораторов стояли в консерватории, в Колонном зале бывшего Благородного собрания, в Политехническом музее, в трех поэтических кафе и на сценах государственных театров в дни, свободные от спектакля.

<...>

«Я, товарищи, поэт гениальный». С этой фразы любил начинать свои блистательные речи Вадим Шершеневич.

И Маяковский примерно говорил то же самое, и Есенин, и я, и даже Рюрик Ивнев своим тоненьким девическим голоском.

В переполненных залах — умные улыбались, наивные верили, дураки злились и негодовали.

А говорилось это главным образом для них — для дураков.

«Гусей подразнить», — пояснял Есенин.

<...>

Пришли мы к славе, как пышно называли мы свою скандальную известность путями многими, путями нелегкими. Доводилось темной осенней ночью даже московские улицы переименовывать. Отдирали дощечки «Кузнецкий мост» и приколачивали «*Улица имажиниста Есенина*», отдирали «Петровка» и приколачивали «*Улица имажиниста Мариенгофа*». Председатель Московского Совета Л.Б. Каменев, похожий лицом на Николая II, потом журил меня:

— Зачем же Петровку обижать было? Нехорошо, нехорошо! Название историческое. Уж переименовали бы Камергерский переулок.

А в предмайские дни мы разорились на большие собственные портреты, обрамленные красным коленкором. Они были выставлены в витринах по Тверской — от Охотного ряда до Страстного монастыря. Не лишённые юмора завмаги тех дней охотно шли нам настречу.

— Поотстал, Николаша, в славе, — огорчился Есенин, — поотстал!

И быстро придумал:

— Ты, Николаша, приколоты к памятнику «Свобода», что перед Моссоветом, здоровенную доску: «Имажинисту Николаю Эрдману».

— На памятнике-то женщина в древнеримской рубахе, — задумчиво возразил Эрдман. — А я как будто мужчина в брюках. Да еще в зеркальных.

— Это совершенно неважно! — заметил Есенин не без резона. — Доска твоя все равно больше часа не провисит. А разговоров будет лет на пять. Только бы в Чекушку тебя за это не посадили.

<...>

На березовых поленцах мы присели возле жаркой буржуйки. Сумерки сгущались. Но зажигать электричество не хотелось. Поглядывая на фыркающий и кашляющий огонь (поленца-то были сырые), на огонь, всегда располагающий к лирике и философии, мы с Есениным размечтались о золотом веке поэзии.

— Теперь уж недалече, — тихо сказал Есенин.

— Да. Вот стукнет нам лет по сорок...

— У, куда хватил! Значит, по-твоему, он наступит, когда уж мы старушками будем? Нет, не согласен! Давай-ка, Толя, выпустим сборник под названием «*Эпоха Есенина и Мариенгофа*».

— Давай.

— Это ведь сушая правда! Эпоха-то — наша.

— Само собой, — ответил я без малейшего сомнения.

Есенин подбросил в огонь три коротких полена, слегка пообсохших на горячем животе буржуйки.

При военном коммунизме дрова покупали на фунты, как селедку.

<...>

## 17

В Москву приехала Айседора Дункан. Ее пригласил Луначарский. Для себя и для своей будущей школы знаменитая босоножка получила от нашего правительства роскошный особняк на Пречистенке. По-купчески роскошный особняк.

— Толя, — сказал Есенин, усевшись на стол, за которым я трудно ковырялся, как говорили мы, над лирическими строчками. — Толя, слушай, я познакомился с Айседорой Дункан.

— Очень рад, — сказал я, не отрывая глаз от рукописи. — Поздравляю.

— Я влюбился в нее, Анатолий.

— Ты? Влюбился?

— По уши!

— Ты?...

— Честное слово!

— Не верю, Сережа.

— Почему это ты не веришь?

— Не верю, — повторил я, обмакнув перо в чернила.

— Уж, может, я не могу влюбиться?

— Полагаю.

Он почесал за ухом.

— Ну, увлекся, что ли.

— Ты? Увлекся?

Он опять почесал за ухом.

— Ну, ладно, ладно. Она мне понравилась.

— Так ведь кругом говорят, Сережа, что она...

Есенин перебил:

— А я люблю пожилых женщин.

— Люби, люби на здоровье!

Но кляксу я все-таки посадил.

— И буду любить. Буду!

Вдруг он испуганно взглянул на лист бумаги, который лежал передо мной:

— Что? Кляксу посадил? Сейчас посадил?

— Ага.

Он мрачно взглянул на меня:

— Это дурная примета... Эх, растяпа!

Я скомкал лист и выбросил его за окно.

— Все равно это дурная примета.

— Вот вздор-то!

— Увидишь!

— Не болтай чепухи, Сережа.

— Пушкин тоже в приметы верил.

— Сто лет тому назад.  
— А писал-то он стихи сто лет тому назад не хуже нас с тобой.  
Вскоре Есенин перебрался к Дункан, в ее особняк на Пречистенке.

## 18

Мы сидим возле буржуйки. От нее пышет уютным жаром. Черные железные щеки зарумянились.

— Ишь, потрескивает. Не дрова, а порох! — говорит Есенин...

И подсаживается еще ближе к огню:

— Русская кость тепло любит.

На столе, застеленном свежей накрахмаленной скатертью, стоит глиняный кувшин с ветками молодой сосны.

Есенин мнет в пальцах зеленые иглы.

— Это хорошо, когда в комнате пахнет деревцом.

Подходит к ореховой тумбе. На ней еще совсем недавно стояли наши бритвенные приборы и обломок зеркала, прислоненный к флакону тройного одеколona. Теперь на ней: никритинский трельяжик, духи, круглая пудреница с большой пуховкой и синяя фарфоровая тарелочка с золотыми карандашами губной помады.

— Тумбочка-то наша холостяцкая, — говорит он, — каким туалетом стала!

Рассматривает себя со всех сторон в трельяжик и нюхает духи «Персидская сирень» парфюмерного треста «Жиркость». Так в те годы именовалось ТЭЖЭ.

— Приятные...

И душится. Почему-то за ушами.

— У нас в Рязани сирени мно-о-ого!

Потом большой лебяжьей пуховкой пудрит все лицо, а не по-дамски — один нос.

— Мы-то с тобой, два дурака, аптекарской ватой после бритья пудрились.

И расчесывает с наслаждением свои легкие волосы большим редкозубым женским гребнем из черепахи.

— Красота!... Только в кармане его носить неудобно.

И кладет гребень на прежнее место.

— Ну, мне пора.

<...>

И надвигает на самые брови высокую бобровую шапку с черным бархатным донышком.

— Поеду на свою Пречистенку клятую. Дунканша меня ждет.

— Может, останешься? Ночуй с нами, Сережа, в старых пенатах.

— Нет, поеду.

И нехотя надевает шубу.

— Поеду. Будь она неладна!

И натягивает кожаные перчатки на пальцы, по-мальчишески растопыренные.

— Право, Сережа, оставайся. Гляди, как метет на улице.

— Поеду.

Он застегивает шубу на все пуговицы и поднимает воротник, как на морозе:

— Будь здоров.

— Ты сказал, Сережа: «Клятая Пречистенка». Да ну ее к богу! Сыпь домой. На-совсем домой. Мартышка будет рада.

Он кладет на мои плечи обе руки и, глядя в глаза, говорит вслух то, что, вероятно, не раз и не два говорил самому себе:

— Нет, Толя, не могу я, да и не хочу сидеть на краешке чужого гнезда.

И круто поворачивается на каблуках.

<...>

Ах Дункан, милая, дорогая Изадора, и надо же было тебе повстречаться на его пути!  
Вспоминаю диалог из каких-то мемуаров:

— Почему, друг мой, ты не женился на этой знаменитой и богатой женщине?

— Да потому, — ответил мужчина, — что не хотел стать женой своей жены. Кто, где, когда перекинулся этими фразами? А бог его знает. Но они поучительные.

Есенин, конечно, не стал «женой своей жены». Не тот характер. Но, к сожалению, не стал и ее другом. По большому жизненному счету — не стал и мужем. Любовь и дружба, в моем понимании, неразделимы при жизни вдвоем. При человеческой жизни вдвоем. А не в собачьей свадьбе.

<...>

## 19

<...>

А Есенина Айседора называла ангелом и в этом хотела убедить как можно большее число людей. Поэтому на стенах, столах и зеркалах она весьма усердно писала губной помадой: «Есенин — Ангель», «Есенин — Ангель», «Есенин — Ангель».

<...>

Она приехала в Советскую Россию только потому, что ей был обещан... храм Христа Спасителя. Обычные театральные помещения больше не вдохновляли Дункан. Дух великой босоножки парил очень высоко. Она хотела вдыхать не пыль кулис, а сладчайший фимиам. И обращать взор не к театральному потолку, а к куполу, напоминающему небеса. Пресыщенная зрителем (к слову, ставшем на Западе менее восторженным: ведь актрис любят до первых морщинок) — она жаждала прихожан.

Огромный, но неуклюжий храм Христа у Пречистенских ворот ей где-то за границей лично преподнес на словах наш очаровательный народный комиссар просвещения.

Право, эпитет «очаровательный» довольно точен по отношению к Анатолию Васильевичу Луначарскому. <...>

Соблазненная храмом Христа Спасителя, Айседора Дункан не то что приехала к нам, а на крыльях, как говорится, прилетела.

И очень рассердилась: очаровательный нарком надул ее. Вероятно, потому, что слишком смело, без согласования с политбюро, раздавал храмы босоножкам.

Я потом весело сочувствовал Айседоре:

<...>

## 21

<...>

Есенин вернулся из-за границы не Есениным. Тяжелые мрачные страницы придется написать об этом. Какой-то неразрываемый мрак туго запеленал его большое сознание. И, может быть, единственной светлой щелочкой в этих пеленах был шумный житель фибрового чемодана. При первом же знакомстве с нашим парнем Есенин на четверть часа совершенно преобразился: из глаз вылилась муть и порозовел церковный воск его очень худого лица.

— Толя, Мартышон, я крестный вашего пострела.

— Разумеется, Сережа.

— А знаете, ребята, как я буду его крестить?

— Нет.

— В шампанском! — и, как некогда, сверкнул лукавой улыбкой.

— А не напьется ли наш великан на радостях?

— Не остри. Разговор деловой и важный.

— Само собой.

— Я наполню купель до краев шампанским. Стихи будут молитвами. Ух, какие молитвы я сложу о Кирилке! Чертям тошно будет, а святые возрадуются. Согласны?

— Я, Сережа, согласна, – заявила непутевая мамаша.

— Возражений не имеется. Для купанья шампанское даже полезно. Так считали красотки, которых я купал.

— Вот хвастун!

— Стало, заметано? По рукам?

И у Есенина, как встарь, по-мальчишески заискрились глаза.

Мне припомнилась его великолепная строчка:

Что ж ты смотришь так синими брызгами?

Но глаза у Сережи были, как из нежного голубого ситца, выгоревшего на солнце.

— Назначаю крещение на четверток.

— Принято единогласно.

В эту минуту нежданно-негаданно раздался голосок — тихий, но несокрушимый:

— Этого безобразия я не допущу.

Есенин промычал:

— Гром из ясного неба!

Голосок принадлежал моей теще — маленькой старушке с грустными глазами, всегда чуть-чуть испуганными. Кто напугал их? Что?... Вероятно, жизнь. Она ведь такая: ох, как напугать может!

— Ребеночка простудить... малюсочку... Да ведь это... это...

Тихий, но несокрушимый голосок оборвался.

Есенин всячески пытался переубедить старушку, говоря, что он согреет шампанское на примусе и оно будет тепленьким, как вода для корыта, в котором бабка купает своего внука.

Тихий голосок стоял на своем:

— Умру, но не допущу!

Так, не родившись, погиб цикл есенинских стихов, думается мне, бессмертных.

— Веник в бане всем господин, – буркнул неудавшийся крестный.

И ушел нахохлившийся, разогорченный.

Это была его неудача — явная, неприкрытая. А он не очень-то умел претерпеть, смириться, признать себя побежденным и склонить строптивую голову.

Есенин пленился не Айседорой Дункан, а ее мировой славой. Он и женился на ее славе, а не на ней — пожилой, отяжелевшей, но еще красивой женщине с искусно окрашенными волосами — в темно-темно-красный цвет.

Ему было лестно ходить с этой мировой славой под руку вдоль московских улиц, появляться в «Кафе поэтов», в концертах, на театральных премьерах, на вернисажах и слышать за своей спиной многоголосый шепот, в котором сплетались их имена: «Дункан — Есенин... Есенин — Дункан».

Но вот потухала люстра в «Стойле Пегаса» или кончался балет «Лебединое озеро», и он сажал свою мировую славу на извозчика, на толстозадого московского ваньку той эпохи. Они ехали с полутемной Тверской или с темной Большой Дмитровки к себе на Пречистенку в балашовский особняк.

Это не близкий свет, если всю дорогу молчать. А они молчали.

<...>

Садимся, бывало, ужинать. Изадора выпивает большую граненую рюмку ледяной водки и закусывает килькой. Потом выпивает вторую рюмку и с аппетитом заедает холод-

ной бараниной, старательно прожевывая большие толстые куски. Неглубокие морщинки ее лица, все еще красивого, сжимаются и разжимаются, как мехи деревенской тальянки.

— «Разлука ты, разлука...» — напевает Есенин, глядя с бешеной ненавистью на женщину, запунцовевшую от водки и старательно жующую, может быть, не своими зубами.

Так ему мерещится. А зубы у Изадоры были свои собственные и красавец к красавцу.

В столовой никого нет, кроме нас. Для меня, для Никритиной, для Ирмы Дункан, приемной дочери Изадоры, и для ее мужа Шнейдера Айседора Дункан — свой человек, а не мировая слава, в которую, как сказано, влюблен Есенин.

Что же касается пятидесятилетней примерно красавицы с крашеными волосами и по-античному жирноватой спиной, так с ней, с этой постаревшей модернизированной Венерой Милосской (очень похожа), Есенину было противно есть даже «пищу богов», как он называл холодную баранину с горчицей и солью.

Недаром и частушку сложил:

Не хочу баранины,  
Потому что раненый,  
Прямо в сердце раненый  
Хозяйкою баранины!

Есенин был очень подозрителен и недоверчив. Бесцеремонно впиваясь взглядом в лицо собеседника, он всегда пытался прочесть тайные его замыслы, считая, что у каждого они имеются «беспрерывно». Это его слово.

— Смекай, Мартышон, — она же, чертова дочь, иностранка! Ей стихи мои — тарбарщина. Не разубеждай, не разубеждай! Я по глазам ее вижу, — говорил он, сжимая кулаки. — Слов-то русских плясунья не понимает!

А самое страшное, что в трехспальную супружескую кровать карельской березы, под невесомое одеяло из гагачьего пуха он мог лечь только во хмелю — мутном и тяжелом.

Его обычная фраза: «Пей со мною, паршивая сука!» — так и вошла неизменной в знаменитое стихотворение.

Платон резко отделял любимого от любящего.

Есенин был любимым. Изадора любящей. Есенин, как актер, подставлял щеку, а она целовала.

У жизни тяжелые кулаки. Это надо знать и твердо помнить. А мы, как простачки-дурачки, не только отчаянно воем, но и удивляемся, когда она сворачивает нам челюсть.

Не похоже ли это удивление на наивный разговор домашних хозяек, которые, изо дня в день убираясь в квартире, неизменно восклицают: «Откуда только проклятая пыль берется? Ведь только вчера вытирала!» И мы в том же роде философски руками разводим: «Как это, почему у меня челюсть свернута? Ведь еще вчера была совершенно целехонька!»

Эх, жизнь! Жизнь! Чего же это ты дерешься, как хулиган — злой и пьяный?

— Бери-ка, Сережа, тальянку.

Он берет, опускает восковые веки и поет тихо, грустно, с милой хрипотцой:

Ты меня не любишь, не жалеешь.  
Разве я немного не красив?...

За окном уже поднималась утренняя заря — желтая, как этикетка на спичечной коробке.

«Пей со мною, паршивая сука!...»

А ведь мы, товарищи, в наши розовые годы всерьез надеялись, что только и будем получать от жизни сахарные поцелуи.

Эх, гармошка, смерть-отрава,  
Знать, с того под этот вой  
Не одна лихая слава  
Пропадала трын-травой.

Как-то Айседора Дункан танцевала в бывшем Зиминском театре. Все было переполнено: партер, ложи, балкон, ярусы.

Из деревянной пропасти, в которую ввергнуты скрипки, виолончели, флейты и громадные барабаны, взлетела, как птица, дирижерская палочка.

Взлетела и замерла.

Заговорил Чайковский «Славянским маршем».

Мне всегда думалось, что о живописи можно рассказать не словами, а только самой живописью, то есть цветом. О скульптуре — мрамором, деревом, воском, глиной. А о музыке — только самой музыкой. Какой вздор! Оказывается, что «Славянский марш», божественный и человеческий — эти звуки величия, могущества, гордости и страсти, — могут сыграть не только скрипки, виолончели, флейты, литавры, барабаны, но и женский торс, шея, волосы, голова, руки и ноги. Даже с подозрительными ямочками возле колен и локтей. Могут сыграть и отяжелевшие груди, и жирноватый живот, и глаза в тонких стрелках морщин, и немой красный рот, словно кривым ножом вырезанный на круглом лице. Да, они могут великолепно сыграть, если принадлежат великой лицедейке. А Дункан была великая танцующая лицедейка. Я не люблю слово «гениальный», «гениальная», но Константин Сергеевич Станиславский, не слишком щедрый на такие эпитеты, иначе не называл ее.

Отгремел зал.

Вспыхнули люстры.

Мы сидели с Есениным в ложе бенуара, недалеко от сцены. Слева, в соседней ложе, были — актриса, актер и нэпман. Нам не пришлось особенно наострять уши, чтобы слышать их болтовню. Члены профессионального союза работников искусств имеют обыкновение говорить значительно громче, чем простые смертные. Они жаждут, чтобы посторонние люди, проходящие мимо или сидящие поблизости, обращали на них внимание и обязательно слышали то, что они болтают. Хотя в этом нет никакой необходимости, так как не слишком часто они бывают остроумны, а еще реже — умны.

— Знаете ли, друзья мои, — сказал молодой человек с подбритыми бровями, — а ведь это довольно неэстетическое зрелище: груди болтаются, живот волнуется. Ох, пора старушенции кончать это занятие.

— Дуся, ты абсолютно прав! — поддержал его трехподбородковый нэпман с вылупленными глазами. — Я бы на месте Луначарского позволил бабушке в этом босоногом виде только в Сандуновских банях кувыряться.

Мне было страшно взглянуть на Есенина.

— Ха-ха-ха!... — захохотал актер, разумеется, слишком громко и малоестественно.

Настроение у нас стало «серое с желтыми пятнышками», как говорил один хороший писатель прошлого века.

— А сколько ей лет, Жоржик? — промурлыкало хрупкое существо с глазами, как дым от папиросы.

— Черт ее знает! Говорят, шестьдесят четыре, — по привычке соврал актер.

— Она еще при Александре Третьем в Михайловском театре подвизалась.

— Я так и предполагала, — отозвалась красавица, жующая шоколад «Золотой ярлык».

Есенин заскрипел челюстями.

— Наши мегеры в ее возрасте с клюками ходят, и на каждом пальце обеих ног у них по мозольному кольцу, — снова промурлыкало прекрасное существо, которую парикмахер сделал златокудрой. — Клянусь истинным богом!

— Твоего бога, Кисинька, большевики ликвидировали, как класс! – сострил нэпман.

Златокудрая уже съела и крымское яблочко, и вафлю с кремом, и плитку шоколада «Миньон», а теперь, к моему ужасу, с жадностью поглядывала на бутерброд с полтавской колбасой, лежащий в бумажной салфетке на барьере ложи. Но приходиться в ужас не стоило, что я понял впоследствии. Это был нормальный аппетит классического кордебалета.

— А знаешь. Киса, как называют Дункан в «Стойле Пегаса»? – спросил нэпман.

— Как?

— Дунька-Коммунистка.

— Блеск! – захохотал актер.

— Чертовски остроумно! – одобрило эфемерное существо. – Дай мне, Маркушенька, апельсинчик. – И, дожевав полтавскую колбасу, она стала нервно сдирать с апельсина пупырчатую кожуру.

— Вот компания кретинов! – не выдержав, сказал я так же громко, как говорил актер.

К нашему огорчению, это только осчастливило нэпмана, сразу узнавшего меня.

— Товарищи... Товарищи!... – зашептал он. – Знаменитый имажинист Анатолий

Мариенгоф!

— Вижу, Маркушенька.

— Вы слышали, вы слышали, он обозвал нас крестинами!... Компанией крестинав!

— Слышал, – с меньшим восторгом ответил актер, по-мефистофельски вскинув подбритую бровь.

Есенин сидел в глубине ложи, прячась от зрителей.

— Пойдем, Толя, – процедил он побелевшими губами, почти не разжимая челюстей. Я поднялся с кресла.

Есенин натянул замшевую перчатку на трясущуюся руку.

— Есенин!... Есенин!... – зашептали вслед приятные соседи.

— Муж!... Ха-ха! Муж старухи!

<...>

Всю остальную часть ночи он пил свой есенинский коктейль — водку с пивом. Это был любимый напиток наших нижегородских семинаристов. Они называли его ершом и пили чайными стаканами.

<...>

На другой день в балашовский особняк пожаловал поэт Петр Орешин.

— Дай, Серега, взаймы пять червонцев, – сказал он Есенину. – В субботу отдам. Будь я проклят.

— Нет ни алтына, душа моя.

И Есенин, вынув бумажник, бросил его на стол:

— Все, что найдешь, твое. Без отдачи. Богатей!

Он имел обыкновение рассовывать деньги по карманам. Но на этот раз во всех было пусто.

Орешин взял бумажник и стал деловито обшаривать его.

— Вот так камуфлетина!

Мужиковствующие поэты щеголяли подобными словечками.

— О тебе, Петр, в Библии сказано: «В шее у него жилы железные, а лоб его медный».

— Признавайся, Серега, а в карманах? В карманах есть?

И взглянул на Есенина взглядом испытующим и завистливым. Ершистые брови зло двигались.

— Ищи, – сказал Есенин, поднимая вверх руки. – Ищи!

Орешин дотошно искал, выворачивая карман за карманом.

— Где научился обшаривать-то? В угрозыске, что ли?

— И впрямь ни шпинта. В решетке чудо!

— А штиблеты скидывать? – играя в покорность, спросил Есенин. – Может, там найдешь рубликов триста? Под пяткою у меня?

— Дурак! – хмуро выругался Орешин. – Какого же черта на богатой старухе женился?

Есенин стал белым, как носовой платок. Но не ударил Орешина, а только сказал:

— Ах, Петро, Петро!... Не о тебе ли с твоими друзьями... по вшивому Парнасу... говорено в древности: «Мы благословляем вашу наивность, но не завидуем вашей глупости».

Есенин и Дункан жили в одной комнате, а как будто в разных: он в своей, она — в своей. Казалось, что они перекликаются через толстую каменную стену, а не разговаривают.

— «Эх, гори да догорай моя лучина», – пел Есенин со своей пленительной хрипотцой.

Его жизнь сгорала как-то криво, с одной стороны, как неудачно закуренная папироса. Дым от нее лез в глаза, и они слезились от этого.

Мужиковствующие поэты, актеры с подбритыми бровями, нэпманы из Столешникова переулка, присосавшиеся к богеме, и прочие и присные — все это были только цветочки. А уж ягоды, полные горечи и отравы, созрели за границей — в Европе и в Америке.

Перед отъездом за границу Дункан расписалась с Есениным в загсе.

— Свадьба! Свадьба!... – веселилась она. – Пишите нам поздравления! Принимаем подарки: тарелки, кастрюли и сковородки. Первый раз в жизни у Изадоры законный муж!

— А Зингер? – спросил я.

Это тот самый — «Швейные машины». Крез нашей эпохи. От него были у Дункан дети, погибшие в Париже при автомобильной катастрофе.

— Зингер?... Нет! – решительно тряхнула она темно-красными волосами до плеч, как у декадентских поэтов и художников.

— А Гордон Крэг?

— Нет!

— А Д'Аннунцио?

— Нет!

— Нет!... Нет!... Нет!... Сережа первый законный муж Изадоры. Теперь Изадора — русская толстая жена! — отвечала она по-французски, прелестно картавя.

Илья Ильич, административное лицо при московской школе Айседоры Дункан, показал мне журнал, полученный из Нью-Йорка.

— А вот и наши! — сказал в нос Шнейдер.

<...>

На цветной фотографии я увидел смеющуюся Изадору и несмеющегося Есенина.

Она снялась в ярко-синей широкополой шляпе с белыми перьями, в ярко-синей пелерине, подбитой белым шелком; в руке был ярко-синий зонтик, окаймленный пеной белых кружев, и т. д. Все ярко-синее с белым.

А он — от шляпы до подметок в светло-сером. Словно отлит из серебра. Легкий, ладный.

— Как денди лондонский одет! – прогнусавил Шнейдер. – Вот вам и рязанский мужичок!

Кстати, мужичок-то Есенин был больше по слову. Дед его, заменивший в попечении отца, гонял по Оке и Волге собственные баржи, груженные хлебным товаром.

Под роскошным цветным клише стояла подпись: «Айседора Дункан со своим молодым мужем».

Я ударил кулаком по журналу:

— Мерзавцы!

Шнейдер улыбался своей администраторской улыбкой — одновременно приторной и наглой.

— Американцы без церемоний!

Он протянул мне второй журнал. Подпись: «Айседора Дункан со своим мужем, молодым большевистским поэтом».

— Его фамилия их не интересует, — счел своим долгом пояснить Шнейдер. — Муж Айседоры Дункан! И этим все сказано.

<...>

Передо мной — газеты, журналы. Целая кипа. Есенин в них существовал только как «молодой супруг». Ужас!

А Шнейдер гнусавя иронизировал:

— Какая честь для нашего Сережи!

<...>

Отвернувшись от Шнейдера, я вижу через немалое пространство — есенинские глаза в кровяных ниточках, вижу его щеки и лоб, словно обтянутые полотном. Слышу, как скрипят его челюсти.

<...>

Есенин не слишком был скромн, когда писал, говорил и думал о себе. Но где ему в этом до Гоголя!

Меня теперь нужно беречь и лелеять, — писал Николай Васильевич из Италии. — Пусть за мной приедут (это из Москвы в Рим!) Михаил Семенович и Константин Сергеевич (Щепкин и Аксаков). Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают не бесполезное дело! Они привезут с собой глиняную вазу... В этой вазе теперь заключено сокровище, стало быть, ее нужно беречь.

Тут нет и тени улыбки. Ни самой микроскопической дозы иронии. Нет, богоизбранники не шутят, фанатики не иронизируют.

«Ах ты, о Боже мой! — сетовал я. — Почему ж у Есенина не было хоть малой крохи от гоголевского: „Меня нужно беречь“?»

Много позже Айседора Дункан, оставленная Есениным, рассказывала мне со слезами на глазах:

— О, это было такое несчастье! Вы понимаете, у нас в Америке актриса должна бывать в обществе — приемы, балы. Конечно, я приезжала с Сережей. Вокруг нас много людей, много шума. Везде разговор. Тут, там называют его имя. Говорят хорошо. В Америке нравились его волосы, его походка, его глаза. Но Сережа не понимал ни одного слова, кроме «Есенин». А ведь вы знаете, какой он мнительный. Это была настоящая трагедия! Ему всегда казалось, что над ним смеются, издеваются, что его оскорбляют. Это при его-то гордости! При его самолюбии! Он делался злой, как демон. Его даже стали называть: Белый Демон... Банкет. Нас чествуют. Речи, звон бокалов. Сережа берет мою руку. Его пальцы, как железные клещи: «Изадора, домой!» Я никогда не противоречила. Мы немедленно уезжали. Ни с того, ни с сего. А как только мы входили в свой номер — я еще в шляпе, в манти, — он хватал меня за горло, как мавр, и начинал душить: «Правду, сука!... Правду! Что они говорили? Что говорила обо мне твоя американская сволочь?» Я хриплю. Уже хриплю: «Хорошо говорили! Хорошо! Очень хорошо». Но он никогда не верил. Ах, это был такой ужас, такое несчастье!

Айседора Дункан любила Есенина большой любовью большой женщины.

Жизнь была к ней щедра и немилосердна. Все дала и все отняла: славу, богатство, любимого человека, детей. Детей, которых она обожала.

Есенин уехал с Пречистенки надломленным, а вернулся из своего свадебного путешествия по Европе и обеим Америкам безнадежно сломанным.

— Турне! Турне!... Будь оно проклято, это ее турне! – говорил он, проталкивая чернильным карандашом тугую пробку вовнутрь бутылки мартелевского коньяка.

<...>

Заломив руки, он стал потягиваться. Так потягиваются и собака и кошка, когда им неважно от душевной тоски.

— Знаешь, Толя, сколько народу шло за гробом Стендаля? Четверо!... Александр Иванович Тургенев, Мериме и еще двое неизвестных.

Я невольно подумал: «До чего же Есенин литературный человек!» По большому хорошему счету — литературный. А невежды продолжали считать его деревенским пастушком, играющим на дулейте.

Взяв с кровати светло-серую шляпу в пятнах от вина, он сказал:

— Моцарта похоронили в общей могиле. В могиле для бродяг.

И стал легонько насвистывать:

Эх, яблочко,  
Куды котишься...

<...>

Он забыл на столе свои телеграммы:

Ялта гостиница Россия Айседоре Дункан  
Я люблю другую женат и счастлив

*Есенин*

И черновик этой телеграммы:

Я говорил еще в Париже что в России я уйду жить с тобой не буду сейчас я женат и счастлив тебе желаю того же

*Есенин*

И еще вспомнилось: два наших дворника-близнеца, пыхтя, вносят в комнату громадный американский чемодан, перехваченный, как бочка, толстыми металлическими обручами.

Вслед, пошатываясь, входит Есенин. Его глаза в сухом кошачьем блеске. Лицо пористое и похоже на мартовский снег, что лежит на крышах.

— Вот, Толя, – кивает он на чемодан, – к тебе привез. От воров.

И скользким подозрительным взглядом окидывает комнату, не доверяя углам, где и собачонке-то не утаиться.

— От каких, Сережа, воров? Кто ж это? Где они?

— Кругом воры! Кругом!

Дворники-близнецы, почесывая бороденки, согласно гнут шеи:

— Истинное слово, Сергей Александрович: разбойник на разбойнике сидит.

— Раздевайся, Сережа. Давай шубу.

— Сюда! Сюда, братцы, коф-фер! К этой стенке.

Дворники двигают чемодан, кряхтением увеличивая его тяжесть.

— Хорош коф-фер! Негры в Америке прямо с третьего этажа его на асфальт скидывают! И ни хрена! Целехонек.

Дворники одобрительно похлопывают чемодан, как добрую лошадь.

Есенин сует им несколько бумажек.

— Что, братцы, взопрели? Тяжел дьявол! Книги там. Одни книги. Они ведь, что каменюги, – хитрит Есенин, чтобы не позарились на его имущество.

Дворники благодарят, сняв шапки. Значит, дал много. Теперь ведь не очень-то благодарят. А еще реже при этом снимают шапки.

— Счастливо, братцы! Прощевайте, прощевайте!

Дворники уходят с шапками в руках.

Прикрыв дверь за ними, Есенин повторяет:

— Все воры! Все!... Пла-а-акать хочется.

— Полно, Сережа.

И мне тоже хочется плакать от этого бреда.

Есенин вынимает из кармана всякие ключи, звенящие на металлическом кольце, и, присев на корточки, отпирает сложные замки «кофера».

— В Америке эти мистеры — хитрые дьяволы! Умные! В Америке, Толя, понимают, что человек — это вор!

И поднимает крышку. В громадном чемодане лежат бестолковой кучей — залитые вином шелковые рубашки, перчатки, разорванные по швам, галстуки, носовые платки, кашне и шляпы в бурых пятнах.

А ведь Есенин был когда-то чистюлей! Подолгу плескался в медном тазу для варенья, заменявшем ванну, или под ледяным краном. Сам гладил галстук. Сам стирал рубашку, если запаздывала прачка, а другой рубашки для перемены не находилось. Добра-то в обрез было.

— Ха!... – горько улыбается он. – Вот все, что нажил великий русский поэт за целую жизнь!

И скашивает глаз на бестолковую кучу в чемодане, купленную Дункан, которая и сотни тысяч долларов считала мусором. Но это было в ее молодую пору.

— Чего молчишь, Анатолий?...

И подозрительно вскидывает на меня глаза в кровавых жилках.

— Чего?...

— Да о чем тут разговаривать?

— Как о чем? О босоногой плясунье поговорить можно. Миколай Ключев с Петькой Орешиним о ней поговорили б! Разжился, мол, от богатой старухи. У Миколушки-то над башкой висит Иисус Христос в серебряной ризе, а в башке — корысть, зависть, злодейство!

И, озлившись, роется в чемодане дрожащими руками:

— Я, знаешь ли, по три раза в день проверяю. Сволочи! Опять шелковую рубашку украли. И два галстука...

Бред! Страшный, нелепый бред!

— Подделали! Подделали ключи-то. Воры! Я потому к тебе и привез. Храни, Толя! Богом молю, храни! И в комнату... ни-ни! не пускай. Не пускай эту мразь! Дай клятву! По миру меня пустят. С сумой. Христовым именем чтобы кормился. Пла-акать хочется.

— Пла-акать хочется.

<...>

Не стало Есенина.

<...>

Через пятьдесят минут Москва будет встречать Новый год.

Те же люди, которые только что со скорбным видом шли за гробом Есенина и драматически бросали черную горсть земли на сосновый ящик с его телом, опущенный на веревках в мерзлую яму, — те же люди сейчас прихорашиваются, вертятся перед зеркалами, пудрятя, душатся и нервничают, завязывая галстуки. А через пятьдесят минут, то есть

ровно в полночь, они будут восклицать, чокаясь шампанским! «С Новым годом! С новым счастьем!»

<...>

Покойный Сергей Есенин этот Новый год встречал с нами в своем Богословском переулке, где и в самом деле — каждая собака знала его легкую походку.

Сотни людей спрашивали меня: «Почему он сделал это?» В конце концов я сказал себе: «По-видимому, я должен ответить. Во всяком случае, попытаться ответить».

И вот пытаюсь.

Есенин мог потерять и терял все. Последнего друга, и любимую женщину, и шапку с головы, и голову в винном угаре — только не стихи!

Стихи были биением его сердца, его дыханием.

Вспомните, сколько считанных минут он жил после того, как написал кровью свои последние строчки:

До свиданья, друг мой, до свиданья.  
Милый мой, ты у меня в груди.  
Предназначенное расставанье  
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова.  
Не грусти и не печаль бровей.  
В этой жизни умирать не ново,  
Но и жить, конечно, не новей.

Он написал это стихотворение неторопливо, своим обычным округлым почерком, заставляя жить отдельно, словно по-холостяцки, каждую букву.

Ему пришлось обмакнуть ржавое гостиничное перо в собственную кровь. В этом не было ни дурной позы, ни дешевой мелодрамы. Просто-напросто горькая необходимость: в многочисленных карманах пиджака, как на грех, не оказалось карандаша, а в стеклянной чернильнице высохли чернила, как это обычно бывает в перворазрядных отелях.

Где-то, когда-то мне довелось прочесть биографию шотландской принцессы XV века. Если память не изменяет, ее звали Маргаритой.

Умирая, принцесса сказала:

— Плевать на жизнь!

Ей было девятнадцать лет.

Никто не слышал последних слов Есенина. Да и вряд ли в унылом номере Петербургской гостиницы «Англетер» в последнюю минуту он разговаривал сам с собой. Этой дурной театральной привычки я никогда не замечал за ним. Но с 1923 года, то есть после возвращения из свадебного заграничного путешествия, весь смысл его существования был тот же, что и у шотландской принцессы:

— Плевать на жизнь!

В начале 20-х годов как-то в «Стойло Пегаса» пришли три девушки. Совсем юные.

У хорошенькой, глазастой Гали Бениславской тогда еще были косы — галочьего цвета. Длинные, пушистые, с небольшими бантиками. Крепенькие ноги в черных хромовых башмаках с пуговицами.

Мы говорили: «Пришла Галя в мальчиковых башмаках». Или: «Пришла Галя в бабушкиных чулочках!»

Они были в крупную вязку, теплые, толстые и тоже черные.

Двух других девушек мы ласково называли «мордovorотиками».

После возвращения Есенина из Америки Галя стала для него самым близким человеком: возлюбленной, другом, нянькой. Нянькой в самом высоком, благородном и красивом смысле этого слова, почти для каждого из нас дорогого по далекому детству, а в войну взрослые, измученные люди переделали няню в «нянечку».

Я, пожалуй, не встречал в жизни большего, чем у Гали, самопожертвования, большей преданности, небрежливости и, конечно, любви.

Она отдала Есенину всю себя, ничего для себя не требуя. И уж если говорить правду — не получая.

Хочется привести несколько кусочков из писем Есенина:

Галя, милая.

Простите за все неуклюжества.

8/IX–23

Галя, милая!

Простите, что обманул.

Дня я еще не видел. Какой он есть.

Думаю, что не смогу поехать с вами.

Немного разбит настроением физически.

*(Без даты).*

Галя, милая! Я очень люблю Вас и очень дорожу Вами. Дорожу Вами очень, поэтому не поймите отъезд мой как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя, милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного...

Привет Вам и любовь моя!

Правда, это гораздо лучше и больше, чем чувствую к женщинам.

*15 апреля 1924*

О печатании собрания:

... издайте по берлинскому тому... Этого собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг по-прерь — сделают все не так, как надо.

*29 октября 1924*

Галя, голубушка!... может быть, в мире все мираж, и мы только кажемся друг другу.

Ради бога, не будьте миражом Вы. Это моя последняя ставка и самая глубокая.

*20 декабря 1924*

Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я вас нисколько не люблю как женщину.

*21/III–25*

После очередного консилиума:

Мне запрещено пить. С легкими действительно что-то неладно... После выправки жизнь меняю.

*11–12 мая 1925*

Записка мне:

Дорогой Анатолий!... Галя — моя жена.

*Сергей*

В это время его женой была Софья Андреевна Толстая, внучка Льва Николаевича, до немислимости похожая на своего деда. Только лысины да седой бороды и не хватало. Впервые я с ней встретился в вестибюле гостиницы «Москва». Взглянул и решил:

— Да ведь это Софья Андреевна! Жена Сережи.

Узнал ее по портретам Льва Николаевича.

А когда-то Есенин хотел жениться на дочери Шаляпина, рыженькой, веснушчатой дурнушке.

Потом — Айседора Дункан.

И все для биографии.

Есенин — Шаляпина!

Есенин — Дункан!

Есенин — Толстая!

Кого же любил Есенин?

Больше всех он ненавидел Зинаиду Райх.

Вот ее, эту женщину, с лицом белым и круглым, как тарелка, эту женщину, которую он ненавидел больше всех в жизни, ее — единственную — и любил.

Зинаида сказала Есенину, что он у нее первый. И соврала. Этого Есенин никогда не мог простить ей. Не мог по-мужицки, по темной крови, а не по мысли.

— Зачем соврала, гадина?!

И судорога сводила лицо, глаза багровели, руки сжимались в кулаки.

В стихотворении «Собаке Качалова» написано:

Она придет, даю тебе поруку.  
И без меня, в ее уставясь взгляд,  
Ты за меня лизни ей нежно руку,  
За все, в чем был и не был виноват.

Я убежден, что это относится к Зинаиде Райх.

Мне кажется, что и у нее другой любви не было. Помани ее Есенин пальцем, она бы от Мейерхольда убежала без резинового плаща и без зонтика в дождь и в град.

В последние месяцы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки.

От первой, утренней, рюмки уже темнело его сознание.

А за первой, как железное правило, шли — вторая, третья, четвертая, пятая...

Время от времени Есенина клали в больницу, где самые знаменитые врачи лечили его самыми новейшими способами. Они помогали так же мало, как и самые старейшие способы, которыми тоже пытались его лечить.

<...>

Свои замечательные стихи 1925 года Есенин писал в тот единственный час, когда был человеком. Он писал их почти без помарок. Тем не менее они были безукоризненны даже по форме, более изощренной, чем когда-либо. Я говорю — изощренной, понимая под этим лиричность, точность, предельную простоту при своеобразии. Это было подлинное чудо! В молодые добрые времена он никогда не работал легко и быстро. С лирическим стихотворением, зачавшимся в голове, любил «побродить и переспать ночку».

Мне говорил:

— В корове. Толя, молоко не прокиснет!

А когда к нему приставал с вопросом какой-нибудь критик:

— Сергей Александрович, дорогой, расскажите, пожалуйста, как вы пишете?

— Как пишу? — переспрашивал Есенин. — Да вот, присяду на полчаса к столу перед обедом и напишу стишка три-четыре.

И хохотал тому в спину:

— Зачем дураку знать, что стихи писать, как землю пахать: семи потов мало.

Великий философ Скворода говорил: «Всякий человек имеет цель в жизни, но не всякий — главную цель».

У Есенина была — главная.

К концу 1925 года решение «уйти» стало у него маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, пытался выброситься из окна, перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом.

А накануне Есенин был у Николая Клюева.

Среди теплеющих лампадок читал стихи своему «старшему брату» в поэзии.

Клюев сидел на некрашеной дубовой лавке под иконой Миколы Чудотворца старого новгородского письма.

— Ну как? — тихо спросил Есенин. — Стихи-то?

Старшой брат троекратно облобызал его:

— Чувствительные, Сереженька. Чувствительные стишки. Их бы на веленовой бумаге напечатать, с виньеточками: амурчики, голубки, лиры. И в сафьян переплесть. Или

в парчу. И чтоб с золотым обрезом. Для замоскворецких барышень. Они небось и сейчас по Ордынке да на Пятницкой проживают. Помнишь, как Надсона-то переплетали? А потом — Северянина Игоря, короля поэтов. Вот бы, Сереженька, и твои стишки переплесть так же.

После этих слов Есенин заплакал.

Это была его последняя встреча. Рассказал мне про нее один петербургский поэт, бывший при этом.

На литературном вечере в Вятке мне из публики бросили записку: «Товарищ Мариенгоф, скажите — поэтами рождаются или делаются?»

Я скаламбурил:

— Сначала делаются, а потом рождаются.

Так вот: Есенин поэтом родился и поэтом умер.

<...>

Вы помните есенинское:

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,  
За неверие в благодать,  
Положили меня в русской рубашке  
Под иконами умирать.

А вот это стихотворение для умного Есенина было чистой литературой. Чистейшей! Даже в свою последнюю здешнюю минуту он не вспомнил бога. А все многочисленные Иисусы в есенинских стихах и поэмах, эти богородицы, «скликающие в рай телят», эти иконы над смертным ложем существовали для него не больше, чем для Пушкина — Аполлоны, Юпитеры и Авроры.

Мы часто повторяем вслед за Достоевским: «Человек с Богом в душе», «Человек без Бога в душе». В этом смысле у Есенина, разумеется, бог существовал. Но не христианский, не православный, а земной, человеческий, наш. Имя его — поэзия. С этим единым богом Есенин и прожил всю свою мыслящую жизнь.

Есенинская трагедия чрезвычайно проста. Врачи это называли «клиникой». Он и сам в «Черном человеке» сказал откровенно:

Осыпает мозги алкоголь.

Вот проклятый алкоголь и осыпал мозги, осыпал жизнь.

Возникают в памяти бунинские строчки:

Легкой жизни я просил у Бога,  
Легкой смерти надо бы просить.

Ах, Сережа, Сережа, почему же ты не попросил ее, этой легкой смерти? Но у кого просить-то было?

## 24

После декабря 1926 года, то есть без малого через двенадцать месяцев после смерти Есенина, Галя Бениславская несколько раз приходила к нам на Богословский. Обычно под вечер. То одна придет, то с Катей — сестрой Есенина.

Всякий раз Галечка была милой, тихой, собранной. Без трагической маски на очень похуевшем лице. Изредка даже улыбалась. Но улыбка казалась какой-то извиняющейся: «А я вот все-таки улыбаюсь».

Свое предсмертное письмо, как мне передавали, Галя написала на папиросной коробке. Может быть, это и неправда. Я читал его в музейной копии. «В этой могиле для меня все самое дорогое...» — написала она.

Курила Галя по-мужски, глубоко затягиваясь и выпуская дым из носа.

---

«Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, — стояло в конце письма, — значит, даже тогда я не жалела.

Если жаль — заброшу ее далеко.  
Одна осечка».

К сожалению, я не знаю, воткнула ли она финку в могилу или забросила ее далеко.  
Уж лучше бы воткнула.

Стрелялась Галя из хлявенького револьверишки — из «бульдога».

Не без мысли о Достоевском мне хочется рассказать еще об одном самоубийстве.

Это было в Ленинграде почти перед самой войной с Гитлером. Щупленький рябой маляр лет двадцати восьми из ревности убил свою жену. Ему дали восемь лет. Он их добросовестно просидел. А в первый же день, как выпустили, пошел на Волково кладбище, где она была похоронена, и повесился на толстом суку возле ее креста.

Я навестил их могилы. Там, рядом, положили и его — этого русского Ромео, нашего современника, щупленького рябого маляра.

Не верят в большую любовь только болваны, важно считающие себя скептиками.  
Во все времена их было больше, чем надо.